Иероним Иеронимович Ясинский

Верочка

Иероним Иеронимович Ясинский
Верочка

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6707252
Верочка: 1884

Аннотация

«…Я был студентом, и Сергей Ипполитович обращался со мною по-товарищески, однако, без фамильярности. Я жил у него во флигеле, который стоял в великолепном липовом парке. От дяди я получал карманные деньги в неограниченном количестве. Он был мой опекун; мне едва пошёл двадцать первый год…»

Иероним Ясинский
Верочка

I

Тополь ки – это дворянский квартал в ***, полурусском, полупольском городе. Воздух тут прекрасный, множество садов; местность высокая и ровная. Там, внизу, на Почаевском проспекте, кипит торговля, снуёт люд, деловой и праздношатающийся, гремят экипажи, а здесь и домов-то немного, народу ещё меньше. Дома – особняки, большею частью одноэтажные, окружённые деревьями. На тенистых улицах тихо, каменная мостовая порастает травой, зелёной как изумруд; и всюду царит приличная скука.

В одном из таких скучных домов жил мой двоюродный дядя, Трималов. Звали его Сергей Ипполитович. Ему было около сорока пяти лет, и наружности он был представительной – высокий, с большим горбатым носом, с длинной красной шеей и тёмной с проседью бородкой. Всегда я видел его в сюртуке; он был причёсан безукоризненно, с пробором посредине, и всегда на губах его играла не то благожелательная, не то насмешливая улыбка.

Я был студентом, и Сергей Ипполитович обращался со мною по-товарищески, однако, без фамильярности. Я жил

у него во флигеле, который стоял в великолепном липовом парке. От дяди я получал карманные деньги в неограниченном количестве. Он был мой опекун; мне едва пошёл двадцать первый год.

Дядя никогда не делал мне замечаний по поводу того, что деньги не держались у меня. Снисходительно улыбаясь, он бывало потреплет меня только по плечу, когда я, получив деньги первого числа, являюсь за ними ещё и десятого, и пятнадцатого, и двадцать седьмого – вообще как придётся, смотря по надобности. Должен сказать, что хотя я наперёд был уверен в снисходительности Сергея Ипполитовича, но не без робости я входил в его дорогой кабинет. Правда, эту робость я прикрывал, обыкновенно, напускной развязностью.

Я выразился: «дорогой» кабинет. Это не значит, что у дяди был кабинет, украшенный произведениями искусства, редкими вещами. Сергей Ипполитович не любил или, вернее, не понимал картин и предпочитал фотографии. Ни одной художественной бронзы, ни одного куска мрамора не было в доме. Но ему нравилась массивная мебель чёрного дерева, и его письменный стол сверкал серебряными вещицами: драконообразными подсвечниками, чернильницей в виде русской избы, башмачками, лаптями; даже серебряный калач красовался на столе. В кабинете было много книг, в богатых переплётах, золотообрезных. В углу висела огромная икона, вся в серебре. Я до сих пор не решил, был ли

дядя религиозен, или эта икона находилась тут благодаря его страсти к серебру. Мне кабинет Сергея Ипполитовича не нравился. Вопиющий блеск этой роскоши смягчался только старинным полинялым ковром, который занимал весь пол и был светло-голубой в тёмных турецких цветах. Когда я входил к дяде, он поднимался мне навстречу и делал по этому ковру два неслышные вежливые шага.

Дядя был женат, но с женой не жил. Я видел её только в моём детстве. Меня тогда поразили её толстые красные губы. Она была незаконная дочь князя Г. и цыганки. Вышла она замуж за некоего Исаева, бросила его, прижила с адвокатом, который вёл ей дело о разводе, девочку, Верочку, вышла вторично за Сергея Ипполитовича и, наконец, поселилась в Париже, оставив свою дочь мужу. Она была вспыльчивая женщина, страдала от ничегонеделания, придиралась ко всем, и, помнится, последняя ссора её с дядей, положившая конец их сожительству, произошла за завтраком, некоторым образом из-за выеденного яйца. Дядя поднёс яйцо к носу, с целью удостовериться, не испорченное ли оно. Это движение показалось Анне Спиридоновне неделикатным и даже гнусным. Оттолкнув тарелку, она тут же, со сверкающими глазами, объявила Сергею Ипполитовичу, что ненавидит его. Должно быть, дядя не имел причин не верить ей; а может и то, что в течение семи лет он сам охладел к ней. Они расстались.

Верочка росла в доме дяди. В институт он её не отдал.

Сергей Ипполитович говорил, что без Верочки ему скучно будет. Воспитывали её гувернантки. Они часто менялись, и иногда их было по две. По вечерам он играл с гувернантками в преферанс; и так как они были обыкновенно хорошенькие – он не мог видеть некрасивых и старых лиц, – то он ухаживал за ними. По этому поводу о дяде ходили иногда странные слухи. Но я не стану повторять их.

Я поселился у дяди окончательно с пятого класса гимназии. Сначала со мной жили репетиторы; но потом я остался один. Первый репетитор, не ужившийся у нас, был студент четвёртого курса, юрист, малоросс, по фамилии Ткаченко. У него был низенький лоб, чёрные, густые брови, малоподвижная шея. Он не любил говорить по-русски. Вместо «что» всегда употреблял «що». И на всё у него были определённые взгляды, которые он считал непогрешимыми.

Защищать свои убеждения он не умел. Он обижался (что выражалось в сосредоточенном молчании), ежели ему возражали. На каждом шагу он выказывал презрение к «панам», насмешливо смотрел на серебряный калач в кабинете дяди, водил дружбу с кучером и садовником и ненавидел Тополь-ки.

Сергей Ипполитович нашёл, что Ткаченко вредно влияет на меня. Однажды дядя внезапно заглянул во флигель. Он увидел меня в малорусском кафтане. На мне были широчайшие синие шаровары, стан перевязан красным поясом, грудь сорочки вышита. Я старался ходить немножко вразвалку как

наш садовник, и беседовал с Ткаченко о том, что судьбы Малороссии – это особая статья, а судьбы Великороссии – это тоже особая статья. Ткаченко лежал на диване и, от времени до времени, искусно плевал сквозь зубы.

– Что за маскарад, мой друг? – сказал дядя с приятной улыбкой. – Повернись! Нет, к тебе не идёт. Да и какой ты малоросс! Внук московского купца, сын русского генерала, Трималов! Разденься, прошу тебя… Не забывай, что ты ещё гимназист и обязан носить форму, присвоенную твоему званию, – прибавил он шутливо. – Г-н Ткаченко, вы чрезвычайно обяжете меня, если уделите мне пять минут для разговора… к которому, впрочем, я уж давно готовлюсь.

Результатом этого разговора было то, что Ткаченко уложил свои книги, записки, накинул на плечи *кобеняк*, молча пожал мне руку и уехал. При разговоре я не присутствовал. Но хотя я был уверен, что дядя грубости не сказал, однако меня оскорбило, что он обошёлся с Ткаченко как со слугой. Только слуг так прогоняют. И по бледным губам Ткаченко, нервно подёргивавшимся, когда он прощался со мной, я догадался, как страдала гордость этого человека.

Я два дня не говорил с Сергеем Ипполитовичем. Но он не заметил моего гнева и за обедом ласково смотрел на меня своими бледно-карими, выцветшими глазами. Тогда мне пришло в голову, что он любит меня и желает мне добра. Я пришёл в кабинет после обеда, и мир был заключён.

Было у меня потом ещё два репетитора: барич из бедных,

щепетильно наблюдавший за свежестью своих немногочисленных рубашек, щеголявший перчатками от Бергонье, духами от Огюста и вслух зубривший записки, и медик, отставной поручик артиллерии, Соколов.

Соколов был гигант, с обширным лбом, с дальнозоркими голубыми глазами. Мне он нравился как воплощение мужества и красоты, и при нём я усердно учился и ещё усерднее читал. Чтоб услышать от него одобрительный отзыв, я всё готов быть сделать. Я покупал книги, у меня составилась целая библиотека серьёзных сочинений; я жадно глотал их в надежде приобрести хоть часть сведений, которыми обладал Соколов. Я ревновал, когда приходили к нему молодые люди, или когда он уходил на всю ночь из дома. «Других он понимает с полуслова, – терзался я, – а со мной не говорит ни о чём, кроме „предметов“. Меня он считает мальчиком. Всю сегодняшнюю ночь он, может быть, провёл в спорах, от которых зависит участь прогресса. Но какого полезного помощника он мог бы найти во мне!»

Я, однако, боялся заявить ему об этом прямо. Мне казалось, он сам должен догадаться. Я худел, бледнел и в отсутствие Соколова старался подражать ему: задумчиво глядел в пространство, прямо смотрел всем в глаза, закидывал с лёгким высокомерием голову назад и, беседуя с Верочкой, которой было тогда лет тринадцать, поражал её невежественный ум массой цитат из Кетле, Прудона, Бюхнера, Спенсера, Лассаля, Маркса. Она с удивлением слушала меня.

Однажды ночью я и Соколов были разбужены в нашем флигеле необычным шумом… У Соколова пересмотрели все вещи, взяли его и увезли. Когда дядя, в мерлушечьем рединготе, прибежал во флигель, в тревоге, он уже застал меня только одного. Я плакал.

Соколов был моим последним наставником. Сергей Ипполитович испугался и хотел определить меня в пансион. Но я упросил его оставить меня дома. Решено было обходиться без репетитора. Так началась моя самостоятельная жизнь.

В тот день, когда я поступил в университет, я чувствовал себя счастливейшим человеком в мире. Огромная сводчатая аудитория, так непохожая на гимназические классы, казалась мне храмом. Студент! Как приятно звучало это слово! Ликующий приехал я домой. Я ждал торжества, праздника. Я думал, что встречу весёлые лица. Но угрюмо молчала тенистая улица. Ещё угрюмее казался Трималовский дом со своими столетними тополями и потемневшими львами по обеим сторонам генеральского герба, с обвалившейся штукатуркой. Я вошёл в ворота. Мёртвые листья желтели на каменных плитах двора. Тишина стояла кладбищная. Плакучие сосны и берёзы, перевесившиеся через чугунную решётку сада, лишь усиливали мрачность впечатления. Я вошёл в дом, прошёл оранжереей. Тяжёлый аромат цветов вдруг ударил мне в голову. И когда я отворил дверь в кабинет Сергея Ипполитовича, то увидел его вместе с Верочкой. Она сидела у него на коленях, и он нежно проводил рукой по её чёрным,

матовым волосам. Бледно-золотистый свет падал на неё из окна, плотно завешенного кисеёй, и из-под её коротковатого платья выставлялись красивые ножки в белоснежных чулках.

Мне понравилась эта сцена. Дядя, сухой и холодный, каким я представлял его себе, рисовался в этой сцене нежным и любящим. Я пожалел его в его одиночестве. Ему скучно жить, разбито его сердце, и вот он привязывается к девочке, которая, в сущности, не может назваться его дочерью и на каждом шагу напоминает ему лишь о том, что с его женой были счастливы другие. Бедный дядя!

Я с умилением подошёл к нему. Верочка быстро подняла голову, посмотрела на меня влажным взглядом своих беспокойных чёрных глаз, оттенённых длинными, острыми ресницами, и всё её смуглое личико выразило смущение и испуг. Дядя спокойно посмотрел на меня. Верочка сделала движение, чтобы уйти, но он крепче обнял её и, обратившись ко мне, спросил:

– Поступил?

– Поступил, дядя!

– Надо денег?

– О… я не думал просить… я просто…

– После обеда получишь, – сказал дядя. – Ну, Верочка, дай Александру в награду поцеловать руку…

Я смеясь приблизился к Верочке. Дядя редко шутил в этих пределах. И сам я был так радостно настроен, что ис-

кренно хотел расцеловать и дядю, и Верочку. Верочка неловко протянула мне руку, тёплую, тревожную, и я поцеловал её в ладонь. Она спрятала голову на груди дяди. Щёки у меня вспыхнули, я повертелся, сказал несколько ненужных фраз, потрогал серебряный калач и ушёл. Отчего я застыдился – не знаю. Но мне бросилось в глаза, что Верочка – красавица, и что она уж не маленькая.

II

Всё на первых порах в университете кажется интересным. И гул шагов в асфальтовых коридорах, и профессор, читающий по тетрадке, и профессор импровизирующий, и вонь анатомического театра. Я поступил на естественный факультет, но меня тянули к себе и лекции приват-доцента, читающего о средних веках, и вечерние беседы сверхштатного профессора о медицине, – интересовала словесность, философия. С лекции профессора, читавшего о клеточке, я уходил на лекцию профессора, излагавшего новую книгу Леки, и, побывав в химической лаборатории, отправлялся слушать римское право. Я накупал книг, записок, приобретал вещи, казавшиеся мне по преимуществу студенческими, например: бухарский халат, трубку с саженным чубуком, гравюру, изображающую умирающего гладиатора, череп, кастет, гипсовый бюст Шевченко, шахматы, чучело филина, рога лося. Я говорил обо всём авторитетно; укорял литерату-

ру в неуважении к молодёжи, и знал, что приговор мой чего-нибудь стоит. Я не читал Фета, но смеялся над ним; говорил, что Гоголь – великий писатель и был бы ещё больше, если бы писал по-малорусски; стихи и романы я презирал. Я, однако, пробовал писать, проводил мучительные часы над сонетами в честь свободы. И когда сонеты в честь свободы не удавались, описывал восходы и закаты солнца.

Я посещал товарищей, товарищи посещали меня. Довольно скоро создалась у меня репутация «честного малого». Меня избрали казначеем секретной студенческой кассы. На сходках я произносил речи, в которых обыкновенно запутывался, потому что не был рождён оратором.

Вечерами студенты собирались небольшими компаниями – гуляли и пели в городском саду, играли на бильярде в Кафе-франсе, пили пиво и ходили по одной отдалённой грязной улице из дома в дом. Эти дома имели печальный вид, фонари зловеще горели над входом, и одеревенелый тапёр колотил по жёлтым клавишам среди роя молчаливых девушек. Иногда я возвращался домой навеселе. На другой день у меня болела голова, за чаем Верочка указывала на мои опухшие веки. Я зевал, говорил: «Да, кутнул… Было дело!» – и чувствовал себя взрослым человеком.

Так прошёл октябрь, ноябрь.

Земля была мёрзлая и звонко стучала под ногами, когда бывало утром гуляешь по Тополькам. Я гулял с собакой. Огромный молодой пёс, толстый как баран, шёл, оскалив

чёрный рот, и умными глазами смотрел на меня. Пустынные улицы дремали утренним дворянским сном. Снег ещё не выпал. От лёгкого мороза пощипывало щёки. И когда я являлся к чаю, раскрасневшийся и бодрый, Верочка, мне казалось, смотрела на меня дружелюбнее, чем обыкновенно.

Гувернантка Верочки, m-lle Эмма, держалась в отношении меня сухо-официального тона. Это была девушка лет двадцати, с талией как на модной картинке, с таким же модным, красивым, но безжизненным лицом; брови были дугой, веки – чересчур прозрачные – опущены, и из-под верхней губы чуть-чуть выставлялось по клыку. Она не подавала мне руки, допускала разговоры только о погоде. Я начинал скучать в её присутствии чрезвычайно скоро. А когда приходил дядя, встававший позднее, и вежливо пожимал мне руку, скука принимала опасные размеры.

Случалось, я совсем не являлся к утреннему чаю. Но тогда мне целый день было не по себе, чего-то недоставало. Приходить по утрам в столовую, смотреть, как сидят вокруг мельхиорового самовара наши домашние, а он шипит и бурлит, – видеть Верочку, ласкающую своей тоненькой, смуглой ручкой моего кудрявого Беппо, и иногда перекинуться с ней двумя-тремя фразами, – глядеть как она ест, пьёт, как невзначай поправит волосы грациозным движением руки или вдруг улыбнётся и устремит на тебя протяжный, горячий взгляд, который тут же и потухнет, и уже в нём играет, по-видимому, иное, но, пожалуй, такое же неопределённое чувство –

это сделалось привычкой, без которой мне было бы трудно обойтись.

Постепенно я пришёл к заключению, что веду слишком рассеянную жизнь, что мало сижу дома. Я перестал посещать студенческую столовую, уклонялся, по возможности, от попоек и от бильярдной игры.

Когда Верочка сидела за пианино, я переворачивал ей ноты. В театре я дарил ей бонбоньерки с конфетами, надевал на неё шубку. Перед обедом, в хорошую погоду, я никогда не пропускал случая сесть против Верочки в ландо и целый час кататься с нею по гремящему Почаевскому проспекту, залитому солнцем и сверкающему золотыми вывесками, зеркальными стёклами магазинов, модными экипажами, пёстрыми нарядами дам. Дядя сидел возле Верочки, в бобровой шинели, и любезно кланялся рукой знакомым. Только встречаясь с генерал-губернатором, он брался за шляпу, и любезное выражение его лица сменялось почтительно-строгим. Верочка даже в шубке казалась тоненькой, стройной, и из-под её красивой шляпки всегда, бывало, вырвется прядь волос и бьёт её по смуглым щекам, а она смеётся… и я смеюсь…

Был ясный день. Солнечный свет розовыми полосами косо ложился по паркету столовой, и деревья глядели в окна. Мы только что сели обедать. Все были веселы. Даже m-lle Эмма улыбалась. Дядя прилично шутил. Лишь Павел прислуживал с самой невозмутимой физиономией, выбритый и важный.

Так как я был либеральный молодой человек, то постепенно мне удалось придать беседе либеральный оттенок. Дяде не нравились либеральные разговоры. Он перестал шутить, беспокойно поглядывая на Верочку. Но Верочку интересовали подробности, которые я передавал о местной лавре и лаврских святых. Студенты первого курса питают особенную наклонность к колебанию веры в чудеса.

Что-то задумчивое мелькало в наивном взгляде её горячих глаз. Верочка точно выросла. И я почувствовал, что сердце моё сильно бьётся.

В январе ей должно было исполниться шестнадцать лет. Решительно, она была красавица, с тонкими чертами, с благородным разрезом удлинённых глаз. Румянца почти не было, но губы прелестного рта алели как коралл… Лебединая шея, чудесный овал лица… И только нос, прямой как у античной статуи, был немного толст.

Я смотрел на Верочку, радуясь, что она такая милая и славная. Даже руки её, красноватые и как бы застенчивые, нравились мне невыразимо…

– Перестань, Александр, – сказал, наконец, дядя. – Религия есть религия.

– Но, дядя, пусть он расскажет, как это делают…

– Нет, уж, Александр, довольно с тебя… не рассказывай… Помнишь – «аще кто соблазнит единого от малых сих, уне есть ему»…

– Помню. Но Верочка разве дитя?

После обеда я заперся в своём флигеле. Я лежал на оттоманке и курил трубку. Я думал о Верочке, но голова кружилась у меня от табачного дыма, и ничего определённого не было в этих мыслях. Скорее то были ощущения, а не мысли. Бледный вечерний сумрак лился в итальянское окно, очертания предметов исчезали в тусклом свете. Над книжным шкафом белелся череп неподвижным пятном. Рога лося выделялись на светлом фоне обоев. Беппо шумно чесался в углу, под бюстом Шевченко.

Подложив под голову гарусную подушку, я закрыл глаза. Но едва я стал дремать, как увидел Верочку. Она стояла, точно живая, точно наяву; я смотрел на неё, со странной, сладостной тоской, слышал, как она дышит, что-то говорит, но что – я не мог уловить. Всё было так натурально, и только чёрные стрелы её ресниц были неестественно длинны.

Я хотел обнять её, но она выскользнула из рук и убежала. Я проснулся. Было совершенно темно. В комнате похолоднело. Я лежал некоторое время, не переменяя позы, со смутной и, можно сказать, дурацкой надеждой, что, пожалуй, этот сон сейчас превратится в действительность. Но послышался храп Беппо – мечта улетела, я встал и зажёг свечку.

Я подошёл к письменному столу, с твёрдым намерением чем-нибудь заняться. Но заниматься я не был в состоянии. С тоской взглянул я на книги и записки и отодвинул их от себя. Лёгкий озноб пробежал по телу, когда я вспомнил сон.

Чтоб рассеяться, я долго ездил по городу, играл на бильярде, наконец, часов в одиннадцать отправился в театр.

Главная пьеса уже была сыграна, и шёл водевиль. В ложах суетились, одевались. В одной из них стоял дядя и держал знакомую мне шубку. Верочка, в модных белых перчатках, опиралась на бархатный барьер. Она глядела на сцену. Ей хотелось дослушать водевиль. M-lle Эмма держалась в глубине ложи. Я не спускал глаз с Верочки и завидовал дяде: он поможет одеться ей. Я дрожал. Я был в восторге, что вижу её, что сейчас пожму ей руку. Я вбежал в ложу. Верочка уже оделась и вышла, об руку… с Сергеем Ипполитовичем.

III

На Рождество Сергей Ипполитович уехал с Верочкой и m-lle Эммой в Петербург. Он не предложил мне ехать вместе, и в последние дни я стал холодно относиться к нему. Но он холода моего, по обыкновению, не замечал.

Снег, наконец, выпал. Солнце сияло, и сани скрипели, когда я поехал провожать Верочку на вокзал. Расставаясь, она крепко пожала мне руку, и первая поцеловала меня, а затем шаловливо подставила обе щеки для моего поцелуя. Чтоб скрыть волнение, я болтал и смеялся, обращаясь, главным образом, к m-lle Эмме, которая в ответ чопорно улыбалась.

Поезд тронулся.

Я одиноко стоял на платформе. Странная досада закрады-

валась в мою душу. Болезненно сжималось сердце, и на минуту сияние снежного дня померкло в набежавшей слезе.

– А я вас ищу. Они уехали?.. Какая жалость!

Это проговорила Ольга Сократовна Поволоцкая, наша соседка. Её бархатная ротонда вся была в снежной пыли, и большое лицо с полукружными густыми бровями раскраснелось от мороза.

– Да, вы опоздали, – сказал я с притворной весёлостью.

Но Ольгу Сократовну нельзя было надуть. Была она опытна и, по крайней мере, по отношению ко мне, отличалась проницательностью, которая удивляла меня и сердила. Ей было около тридцати лет, и муж у неё был старый и какой-то незаметный, хоть в больших чинах. Она постоянно приставала ко мне, вышучивала меня и называла Сашей, по праву старинного знакомства. Но её брови и взгляд её красивых сверкающих глаз, бегающий и злой, не нравились мне. Не нравилось мне также, что она была выше меня ростом, и что при ней я становился застенчив. Она подозрительно улыбнулась, когда я рассмеялся, и, покачав головой, бесцеремонно взяла меня за руку.

– Пойдёмте. Эти письма надо положить в общий конверт и послать Сергею Ипполитовичу poste-restante [*до востребования – фр.*]. А затем я заберу вас к себе. Я разгоню вашу тоску, бедный Саша, и накормлю вас. Теперь я ваш опекун. Помните, что вчера сказал дядя? Послушание и послушание!

Отправив письма, она велела сесть мне в сани. Мы полетели стрелой на толстых чёрных конях, покрытых пунцовой сеткой. Тополи белоснежными колоннами стояли по улицам, готические дома красивыми силуэтами выделялись на лазури. Я ушёл в себя, плохо слышал, что говорила Поволоцкая, и всюду чудились мне глаза, невинные и прекрасные как две звезды. Очаровательный город, в своём новом зимнем наряде, казался мне печальным, весёлая и заигрывающая Ольга Сократовна – олицетворением тоски.

Скучный обед… Скучные разговоры…

Наш город разделён на несколько враждебных лагерей – польский, немецкий, русский, украинский, еврейский. Все ненавидят друг друга. Аристократические Тополи выше такой ненависти, они сложились из разнородных элементов, и национальный антагонизм тут не имеет места. Но, заимствуя свой свет из генерал-губернаторской канцелярии, они присвоили себе право полицейского надзора за воинствующими партиями и строго выслеживают всякую интригу. Они в оба смотрят за нравственностью даже отдельных лиц, имеют своих шпионов во всех лагерях, в университете, в духовной академии, в гимназиях, и нигде как в Тополях не поднимается столько крика против безвредных увлечений местных патриотов и такой травли всего, что не пахнет рутиной, не раболепствует, что мыслит и чувствует по-человечески.

Исключения, разумеется, есть. Но Поволоцкие исключения не составляли.

За обедом было два кружка. В одном говорили о городских делах и ораторствовал профессор Флекензумпф, рыжий, с вкрадчивыми манерами. Поволоцкий уныло слушал его и с обиженным выражением шевелил старческими бритыми губами. Раза два, однако, глаза его вспыхивали, и он, проницательно взглянув на собеседника, беззвучно смеялся. Конечно, дело касалось какой-нибудь «интриги».

Средоточием другого кружка была Ольга Сократовна. Она старалась развлекать меня, заставляла пить и, может быть для того, чтоб возбудить во мне хоть маленькую ревность – у меня шумело в голове, и я имел смелость допустить эту мысль, – после обеда стала особенно любезна с другим гостем своим, доктором Мункиным. Мункин – молодой человек, с огромными кудрями, с лицом поэта, которое портила длинная улыбка, собиравшая кожу на его щеках во множество морщин. Улыбался он то и дело и показывал белые зубы и часть дёсен. Говорил он немного, и эта отвратительная улыбка заменяла у него иногда ответ на вопрос. Мункин держал себя с Ольгой Сократовной фамильярно как, вероятно, со всеми дамами. Он был дамский доктор, практика у него была обширная, но в трудных случаях он в искусство своё переставал верить и отказывался лечить. О нём ходили тёмные слухи… Впрочем, я мало знал его.

Мне было не по себе. Мункин хвалил волосы Ольги Сократовны и причесал её как парикмахер. Он знал все закоулки её будуара, пошёл и умыл руки как дома. Он точно не

волосы причесал молодой даме, а сделал операцию.

И фамильярность Мункина, и странный огонёк в глазах Ольги Сократовны, бесцеремонно устремлённых на меня, и разговор за обедом, и розовый свет фонаря, и какой-то влажный, тяжёлый аромат, который отделяли в будуаре ковры, мебель, драпировки, – всё это производило на меня угнетающее впечатление. Мне хотелось поскорей домой, залечь и думать о Верочке – только… Тут было душно.

Я ушёл, но не прошло и часа, как горничная Поволоцкой прибежала ко мне с запиской. Ольга Сократовна звала провожать её в концерт…

Мы поздно приехали в купеческое собрание и заняли стулья. На эстраде пела виолончель, и пожилой человек во фраке водил смычком, а публика замирала от восторга. Это был виртуоз, европейская знаменитость. Звуки то страстно рыдали, то слышалась глубокомысленная фраза, повторявшаяся на все лады раз двадцать точно вопрос, не находящий ответа. От этих выпуклых, красивых, могучих и вместе нежных звуков странная дрожь пробегала по мне. Стулья стояли тесно, и иногда я чувствовал, как колено Ольги Сократовны прижималось к моему. Очарование исчезало.

На обратном пути Поволоцкая заметила:

– Саша, вы всё грустите. Перестаньте, мой друг.

– Совсем я не грущу. С какой стати я буду грустить?

– Такой уж у вас грустный темперамент… Жаль вам Верочку?

– Верочку? – переспросил я.

«Вот пристала».

– Или, может, m-lle Эмму?

На Девичьей горе стал дуть ветер прямо в лицо. Я отвернулся, поднял воротник и молчал. Но Ольга Сократовна тоже воспользовалась ветром, чтоб сесть иначе, и я почувствовал на минуту теплоту её дыхания и, при блеске газового фонаря, увидел две тёмные искры её глаз, с тем же тревожным выражением как и год назад, когда она вдруг поцеловала меня. Я тогда обиделся. Теперь я ответил ей нахмуренным взглядом. Она расхохоталась.

– Мальчик! Разозлитесь, пожалуйста!

Я напряжённо улыбнулся.

– Этак-то лучше. Так вы не ревнуете?

– К кому?

– К дяде…

Я промолчал.

– Уф, какой ветер! Давайте вашу руку.

Мы подъехали к дому, я помог ей сойти; и как она ни убеждала меня ужинать вместе, я наотрез отказался.

IV

Павел, сонный, но величественный, снял с меня пальто, и пока я входил в зал, он успел зажечь лампу. Как скучно, однако, в этом зале…

Не дальше, как сегодня утром слышался здесь Верочкин смех. Солнце горело, и всё её молодое яркое лицо было залито тёплым светом. Мне стоит закрыть глаза, и я вижу её снова.

Но я всё её вижу с дядей и m-lle Эммой. Её стерегут, быть может, подозревают мою страсть, а быть может…

В самом деле, что это сказала Поволоцкая?..

Мне сделалось стыдно, я засмеялся. Поволоцкая – кокетка, злая и чувственная. Ей просто хочется расшевелить меня, раздражить. Я терпеть не мог женщин вроде Ольги Сократовны, потому что теоретически я ненавидел чувственность.

Эта Ольга Сократовна всё подводит к одному знаменателю. Высокая и чистая любовь, свежая и молодая, непонятна ей, и она цинически (сердито думал я) издевается над моим робким, стыдливым чувством, которое угадала во мне со свойственной ей проницательностью.

Но пусть она хлопочет как ей угодно, пусть клевещет исподтишка – не добьётся она от меня ни словечка, и не выдам я ей своего секрета. Тем более, что до последнего момента я ещё и сам не отдавал себе отчёта, что это за секрет такой. Он ютился в самом сокровенном тайнике души моей… Я берёг его, лелеял, боялся облечь в слово; потому что слово слишком грубо для него…

Размышляя таким образом, вошёл я в дядин кабинет, где в её отсутствие должен был спать. На турецком диване была приготовлена постель. Я отпустил Павла и часа три, если не

больше, не мог заснуть.

Мысленно я мчался за курьерским поездом, уносившим Верочку в туманную даль. Полугрезы, полумечты обступали меня со всех сторон, и голова горела; среди невозмутимой тишины я слышал, как неровно бьётся моё сердце, как стучит в висках. Губы пересохли.

Мне не лежалось, не сиделось, и сунув ноги в туфли, я стал ходить. В зале теперь было темно. Меня потянуло в этот мрак. А из зала потянуло в Верочкину комнату.

Я взял свечку и с тоскливым и робким чувством вошёл туда.

В этой комнате были полукруглые окна, лапчатые филодендроны пышно разрослись в углу, за бархатным диванчиком, и одеяло на узенькой белой с позолотою кровати было огненно-красное.

Жадно смотрел я кругом. В качестве молодого естественника, я отрицал душу; но мне казалось, однако, что часть Верочкиной души носится здесь, – аромат, отделяемый туалетом, кружил мне голову.

Однако, зачем я пришёл сюда? Мне показалось, что я пришёл с определённою целью и вдруг забыл, с какою. Или и в самом деле только затем, чтоб взглянуть на эту кокетливую постельку, подышать этим сонным пахучим воздухом?

Я рассеянно поднял глаза на стены, оклеенные тёмными дорогими обоями. На них висело много фотографий. Я их знал, видел уже раньше. Но тем не менее я стал их рассмат-

ривать, всё также рассеянно, небрежно, точно впросонках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.